

Молочная кухня, 1.

Как-то в гостях за столом, разговорившись о чём-то, что я уже не вспомню, да это и не так важно... в общем, слово за слово, и мы пришли к такой... я не знаю, игре в исповедь, что ли: каждый должен был рассказать, что где и когда украл или украла хотя бы раз в жизни. Когда до меня дошла очередь, я ещё не успел нарыть в памяти эпизод, который сейчас попробую воспроизвести, несмотря на то, что он, скорее, о том, как я не смог украсть, когда попытался, из-за того, что поменялись законы. Не уголовные, а физические...

И всё-таки это было соучастие, а это будет зачёт, решил я и сразу почувствовал облегчение, потому что за время затянувшейся заминки все, кто были за столом, успели уставиться на меня, как на ненормального. “Ну неужели ты ни разу не украл ничего в супермаркете? Или в гастрономе, в детстве, в чужом саду? Ну не может этого быть!” – восклицали они. Мне не понравилось, как они на меня смотрят. Замечу, что я был не на сходке в малине, где мелкие воришки принимали меня в свои ряды, как когда-то в комсомол... Нет, меня никуда не принимали и за столом сидели вполне успешные цивилизные люди. Ну, более чем я, так уж точно. Частично яппи, частично хипстеры... “Дело вот в чём, – сказал я им, – нас в школе учили (все они были младше меня, и я подумал, что их в школе этому уже, наверно, не учили), это было чёрным по белому в каком-то учебнике, новейшей истории, кажется... Что если ты украл булку, то ты вор и тебя посадят на железную цепь, а если ты украл железную дорогу, то ты будешь почётным гражданином своей страны. Память у меня ни к чёрту, но я ручаюсь, что там было написано именно “железную дорогу”, а не Хурал народный.... Торопыжка был голодный, проглотил Хурал народный... Я ни на что не намекаю, соловья баснями... Нет, это просто присказка такая была у нас на мехмате... В тюрьму мне никогда не хотелось, а украсть железную дорогу...мне никогда не представлялась такая возможность, понимаете, так что гордиться мне совершенно нечем, это примерно, как у Довлатова – “А вас когда-нибудь покупали? Ну чтобы вы так гордились, что вы никогда не продавались”.

И вот где-то в этом месте звиряння янгола я и вспомнил вдруг, как попытался украсть не железную, но чем-то похожую дорожку – шпалы без рельсов... вместо рельсов железные тросы... Или нет, в том-то и дело, что они были не железные, а... из чего вьют верёвки, канаты? Из конопли? Но не все канаты... как и не все каналы состояли из конопли, которую впитало молоко, а мы в свою очередь впитали молоко, потому что ночь, в которую я попытался стать татем, была через несколько дней после очередной раздачи на молочной кухне. Я помню, что мы были как бы такими... разведчиками – нас послали в человеческий посёлок собрать дрова для очередной варки, но я как-то плохо излагаю, да.

Ну кто там нас послал. Мы сами себя послали, конечно, мы пошли в поход, чувствуя себя разведчиками в той реальности, из которой вылетали перед этим на неопределённое время. При этом я чувствовал себя разведчиком, но не диверсантом, и когда Сейф сказал, что нужно украсть шпалы, по которым отдыхающие могли комфортно топтать от топчана до прибора... я сказал, зачем этот вандализм, разве нельзя собрать ненужные дрова, столько мусора везде, или там, я не знаю... сухие ветки? Так почему же ты до сих пор ничего не собрал? – сказал

Сейф, у которого была уже под мышкой целая вязанка, а Туя была девушкой-старожилом бухты, давно освободившейся от всякого быта... Нот я как-то ничего не видел, – сказал я. Мы не пойдём сейчас в горы собирать хворост, – сказал Сейф, – можно бы тебя послать такого... но нет. Я тебе говорю: бери дорожку, это идеальные дрова”. “Но она такая большая, – сказал я, – длинная то есть, неизвестно, куда она вообще ведёт... Да и ножа у нас нет”. “Не знаю, – сказал Сейф, – придумай что-нибудь. С ножом и дурак сумеет”.

Я вспомнил, что у меня в рюкзаке есть бутылка с пивом. Мы быстро распили его, после чего я ударил бутылкой о камни, чтобы сделать розочку и ею разрезать канаты, и принести свою лепту дров в костёр Бухты Любви и показать, что я тоже, знаете ли, не лаптем щи хлебавши... Я бил пустой бутылкой о камни, и они крошились, они рассыпались даже не на крошки, а просто в какую-то серую пудру. Я был в таком состоянии, что ничему не удивлялся, как во сне, продолжал бить камни, а они рассыпались... Сгоряча я стукнул и топчан, который не рассыпался, ножка только подкосилась, но он устоял, и я снова стал колошматить бутылкой о булыжники. С тем же результатом: бутылка оставалась цела, а камни превращались в порошок и мне казалось, что это будет продолжаться вечно, а утром жители санатория увидят, что их пляж стал песчаным... Пока один из камней не оказался закатившимся из прежнего мира или сделанным из другого теста, в общем, бутылка, наконец, разбилась, и розочкой я стал разрезать канат.

Но этот, вроде бы и не такой абсурдный, как перед этим, процесс оказался ещё более долгим. При этом мне искренне хотелось перерезать верёвку, как будто ею были связаны не дощечки дорожки, а мои члены... Я проклинал всё на свете и говорил, что мне кажется, в канаты вплетено железо и слышал за своей спиной смех Туи и речитатив Сейфа, “Они золотые! Пилите, Шура, пилите...”, и всё это длилось и длилось, я не видел на канате никакого надреза, как будто я только делал вид, что его режу... Пока вместо каната не лопнуло терпение Сейфа, и он сказал: “Ладно, брось”, после чего опустил на корточки и стал сворачивать дорожку. Шпалы постукивали друг о друга, как колёса о стыки, в темноте рос чёрный ком для снеговика и мне казалось, что Сейф, дойдя до конца, скатывает теперь не только пляжную дорожку, но и её лунное продолжение... Зрелище напомнило мне матанализ и это помогло, кстати, рассеять оцепенение, оставшееся от каменоломни, когда менялись плотности и весовые функции. Операцию свёртки можно интерпретировать как «схожесть» одной функции с отражённой и сдвинутой копией другой. Также свёртка может быть описана как вес одной функции в случае, если другая функция, будучи отраженной и сдвинутой, является весовой.

И вот свёртка мира лежала теперь перед нами, как часокол, объятый часословом, или как замкнувшийся часопис, или вещь в себе, или моток гигантской пулемётной ленты, барабан, проглотивший палочки, как снаряды, питон... или свернувшееся, как кровь, молоко ночи из вены, перерезанной розочкой вместо каната... я не понимал, как, как... как это можно будет унести, что с этим всем можно делать?

Я не учёл, что Сейф, совершив такую конволюцию, и сам при этом эволюционировал: в ответ

на мой вопрос он вырос прямо у нас на глазах до размеров Большого Вора, о котором писал Чжуан-Цзы и дальше пошло как по писаному: "...люди обвязывают эти вещи веревками и канатами, навешивают на них замки и засовы. В миру это называют предусмотрительностью. Но если придет большой вор, то он взвалит на себя сундук, подхватит мешок и утащит комод, страшась только, что все эти веревки и замки окажутся недостаточно прочными".

2.



Изначально хотелось нарисовать железную бочку в прибое... жёлтая бочка и была такой фишкой, которая, собственно, и притянула за собой очередь картинок, весь этот альбом, где она появляется тут и там. Однако в Бухту Любви бочка не могла заехать никак, бухта была со всех сторон, кроме моря, забаррикадирована природой, Малеев каждый раз забирался туда на четвереньках, хотя более спортивные и устойчивые не пользовались руками, Туя, например, босиком и в трениках, чёрных, как её подошвы... Коровы забирались на отвесные

скалы, окружавшие бухту, точнее, спускались по ним, но только до какого-то уровня, как будто козы, но почему-то именно коровы, это было необъяснимо. Я не помню, кстати, называли ли бочку в нашем микрорайоне “коровой”? Кажется, нет, это абберрация памяти... Но к нам коровы с каменных стен не спускались и, ни доить их было невозможно, к сожалению, ни поить зелёным молоком, к счастью, потому что Масик бы мог такое учудить с круговоротом природы, напоить молоком коров, ведь он пытался осчастливить двух чёрно-белых котят, которые прижились в бухте, свалившись туда с неба, но котята, к счастью, не повелись на его ласковые уговоры и на эту жидкость, больше напоминавшую болотную жижу, если не гущу... А изначально... ну или не совсем уже изначально, но ещё белое и водянистое, конечно, молоко жители бухты покупали в продмаге посёлка, тарой служили банки из-под каких-то соков. Очередь в основном состояла из местных старушек, которые позвякивали бидончиками-колокольчиками, крышечками с цепочкам, бубнили-гутарили между собой, хотя те, что стояли в непосредственной близости от волосатых посланников, выворачивающих карманы в поисках медяков, слыша беседы, которые они вели при этом, наскребая то есть на молоко, молчали полностью, обращаясь в слух. “Покупаем три литра”. “Нет, нет, не хватит, три часа варить, оно так выпаривается...” “А то я не знаю”. “Нужно две банки”. “От двух банок все полягут”. “Не парься, как раз по сто или двести на брата”. После покупки Малеев, чувствуя прилипший к спине репей глаз, говорил вновь обрётённым молочным братьям: “Вы бы видели, как они на нас смотрят! У них ушки увяли от ваших подсчётов, глазки стали круглыми...” “Плевать, они всё равно не понимают, о чём мы”. “Им чтобы вызвать воронок, вовсе не нужно точно знать, более, чем достаточно того, что они слышали...” “Не парься, это тебе кажется, а они на самом деле на нас давно уже забили”. “Вы уверены?” “Да проверено: мы для них призраки. Они думают, что мы им мерещимся”. Малеев недобро покачал головой, но через пару шагов по пеклу, подумал, что в самом деле старушка, которой Масик в сумерках протягивает свою флягу, может подумать... при этом надо видеть Масика, его глаза, шорты, его шляпу и флягу на ремне... Хотя на самом деле старушкам Масик флягу не предлагал, а у котят и молодых людей на набережной он предварительно спрашивал: “Скажите, у вас сердце здоровое?” И только если говорили да, отвинчивал крышечку и предлагал хлебнуть.



3. Думал продолжить, но я не знаю, что ещё тут можно сказать... Думал продлить это не словами, а линиями передач, в коэффициент кривизны которых входит число пи, а потом уже волнами тёмных пиний... нарисовать новую версию войны... алой и белой... или же только алой... розы... с кем? с кем протекли её боренья... Шипы роз, шипение пиний в бору и кинжал в букете... я вспомнил хулахуп Ландау... не путать со Львом... а той Ландау, что с мотком колючей проволоки, Сигалит, да, с частоколом вокруг талии... на фоне моря... вращает, и это кольцо пишет на ней кровью... но всё это теперь уже совершенно неважно, всё это уже свелось к картинке о чём-то гораздо меньшем:



А может, тебе просто не хотелось сознаваться ещё в одной краже?

Скорее, не хотелось переписывать предыдущее... и писать дальнейшее... думал отделаться лёгкой зарисовкой... Но она повлекла за собой другую, и вот их целый альбом, одни нарисовались вновь, другие перелетели из других альбомов, вообразив, что их место не в

прошлом, а в будущем, точнее, в будущем прошлом... Но ты же после “Абитуриента” дал зарок не писать больше так, как писал всё, что написал после “Параллельной акции”, *nie wieder* метатексты... т. е. не писать о своём грёбаном письме, после чего перестал вообще писать свою речь, как человек из анекдота, которого закодировали от мата, онемел.

Ну да, мы воровали с Сейфом розы, чтобы подарить их нормальным, т. е. небухточным, девушкам, в посёлке, стосковавшись по мещанской цивилизации ... Розы с нас ростом выросли в каком-то частном саду, что хуже, чем в общественном, я понимаю, но в том не было роз... Срезали мы их специально прихваченным для этой цели ножом, передавая его друг другу, а на рисунке это всё ради красного словца... прежде чем понять, хочу ли я писать дальше всю эту “молочную кухню”, я остановлюсь на одной этой раскраске, а дальше посмотрим.

Стало быть, деминутивы... Да, я их не люблю, это правда. Причём это единственный мой “объект ненависти” (калька с немецкого... говорят ли на так на русском? а, почему бы и нет) в языке. Других нет. Слэнг и прочее не вызывает у меня никаких эмоций, более того, я, пожалуй, антиграманаци и когда вижу заявления в фб о том, что он или она так люто ненавидят тех, кто пишет “одевает” вместо “надевает”, что просят их самих самоотфрендиться, мне это как железом по стеклу... Можно это, конечно, списать на то, что я сам довольно безграмотен. Впрочем, для писателя, каковым я был, по крайней мере, в прошлом... Один мой издатель говорил мне, что я даже несколько выше среднего уровня писательской грамотности... Но я дал зарок не писать о письме... и что же я делаю?

А дело вот в чём: деминутивы раздражают меня в устной речи не меньше, чем в письменной, и, собственно, они и звучали у меня в ушах, когда я рисовал розочку... У меня была знакомая, которая всех за глаза называла “человечками”. И меня это поначалу не особенно раздражало, ну разве что слегка недоумевал... Пока я не представил себе, что она точно так же называет меня в разговоре с кем-то и почувствовал, что я стремительно уменьшаюсь в размерах и перемещаюсь по ту сторону стекла... Мы сидели с ней перед экраном персонального компьютера в офисе кооперативной фирме, где я днём работал, а когда там никого не было, мог делать и писать, что хочу, и приводить кого заблагорассудится, а, так как я был тогда женат, то это был неплохой бонус к зарплате, если к тому же учесть, сколько было той зарплаты... А вот Л. увидела персональный компьютер в тот день впервые... Я показывал ей графическую программу того далёкого времени, где в какой-то момент возникли уменьшенные раз в десять изображения, связанные между собой, как в реляционной базе данных, и если одна сущность двигала в своём квадратике ручкой, то двигали и все остальные, кто чем, и заметив это, т. е., что микрокартины, иконки, как их тогда называли... все как-то связаны, Л. пришла в неопиcуемый восторг, я никогда не видел её такой весёлой... Потом мы шли с ней через чёрный внутренний двор и коридорами учреждения, во флигеле которого размещалась фирма, чёрный пустой город, каменный Скворода казался его единственным обитателем... Я несколько раз занимался тем же самым, чем только что с ней, в НИИ, но только в дневное время, ну т.е. в вечернее, но всегда ещё засветло... заперев дверь комнаты, помню. что я на всякий случай набрасывал на листе А4 что-то вроде начала портрета-акта своей сотрудницы, чтобы, если что... дверь не могли

взломать, конечно, но у вахтёра, наверно, ключи от всех дверей, кроме того, если бы стук был начальственным, пришлось бы открыть в чём есть, одеться бы не успела... я бы успел, я полностью и не раздевался... в общем, так возникли мои первые, не считая предпубертатных, зарисовки женского тела – “для отмазки”... По сравнению с предпубертатными, на этих было в сто раз меньше линий, только начало, никакого другого стимула рисовать у меня не было, вот я ничего и не рисовал... А потом сменилась эпоха, я работал не в НИИ, а в частной фирме, и мне вообще не надо было никого рисовать, даже делать вид, что я рисую, на всякий случай, для оправдания... Не помню, рисовала ли меня Л. Не для оправдания, она была художницей, причём единственной в моей жизни вот в каком смысле... Тут и феминитив ни к чему: Л. единственный художник *bis jetzt*, картину которого я купил. Все остальные, что висят сейчас передо мной, за моей спиной и в моей спальне, или лежат в шкафу... это всё подарки на дни рождения. Я не помню, кто меня привёл к Л., когда она собрала у себя дома небольшую компанию, накормила всех тортом и напоила портвейном, так всё благополучно выглядело... и вдруг она сказала, что у неё жуткая депрессия, к тому же картины не продаются, денег нет и вообще такой мрак, что если никто сейчас не купит за десять долларов вот эту её картину – она достала из-за своей спины и выставила перед нами холст, заполненный неброскими сиреневыми пятнами – она покончит с собой. После чего воцарилась гробовая тишина. Все вошли в ступор. Я хотел было спросить, произойдёт ли это на наших глазах, но вместо этого достал из кошелька десять долларов и протянул Л. Так мы с ней познакомились. Картина и сейчас висит передо мной. На ней вроде бы нет ни одного деминутива, ни городочка, ни деревушечки, ни парнишечки... во всяком случае, если не приглядываться... но вот если прислушаться, то как сейчас слышу её голос: “Там один человек...”

4. Похоже, что я придумал правильное название – “Молочная кухня” – но не для письма, а для рисования: альбом после этого стал расти, как на дрожжах, в нём сейчас уже двадцать пять картинок.

Если я напишу даже краткий комментарий к каждой, это и будет повесть. Зачем она будет, я не знаю, текст с картинками негде публиковать, “Пятиполь” был случайной радостью, а “ради искусства” тут само искусство в десяти кавычках, зачем ему ещё сопровождающие письма? Друг-художник говорит мне, что художник всегда должен сознавать, для чего он это рисует. Я не осознаю, рисую просто так, но даю такое название альбому, чтобы можно было притворяться, что это название рассказа или романа. Но если я это осознаю, то этого уже достаточно и писать поверхностно слова совершенно не обязательно, так что я делаю сейчас нечто ненужное в квадрате.

Однако если уж я начал писать об очередной картинке, перейду, наверно, к третьему лицу. Рассказывать о единственном добром деле, которое сделал в своей жизни так будет легче, да и кто знает, куда это может завести на бумаге, добрыми делами, как известно... Хватит пошlostей, лучше придумай имя своему добродию. Анатолий Малеев. Просто однофамилец мальчика, от которого в памяти остался смутный контур на обложке и больше ничего. Одна из первых прочитанных книг.

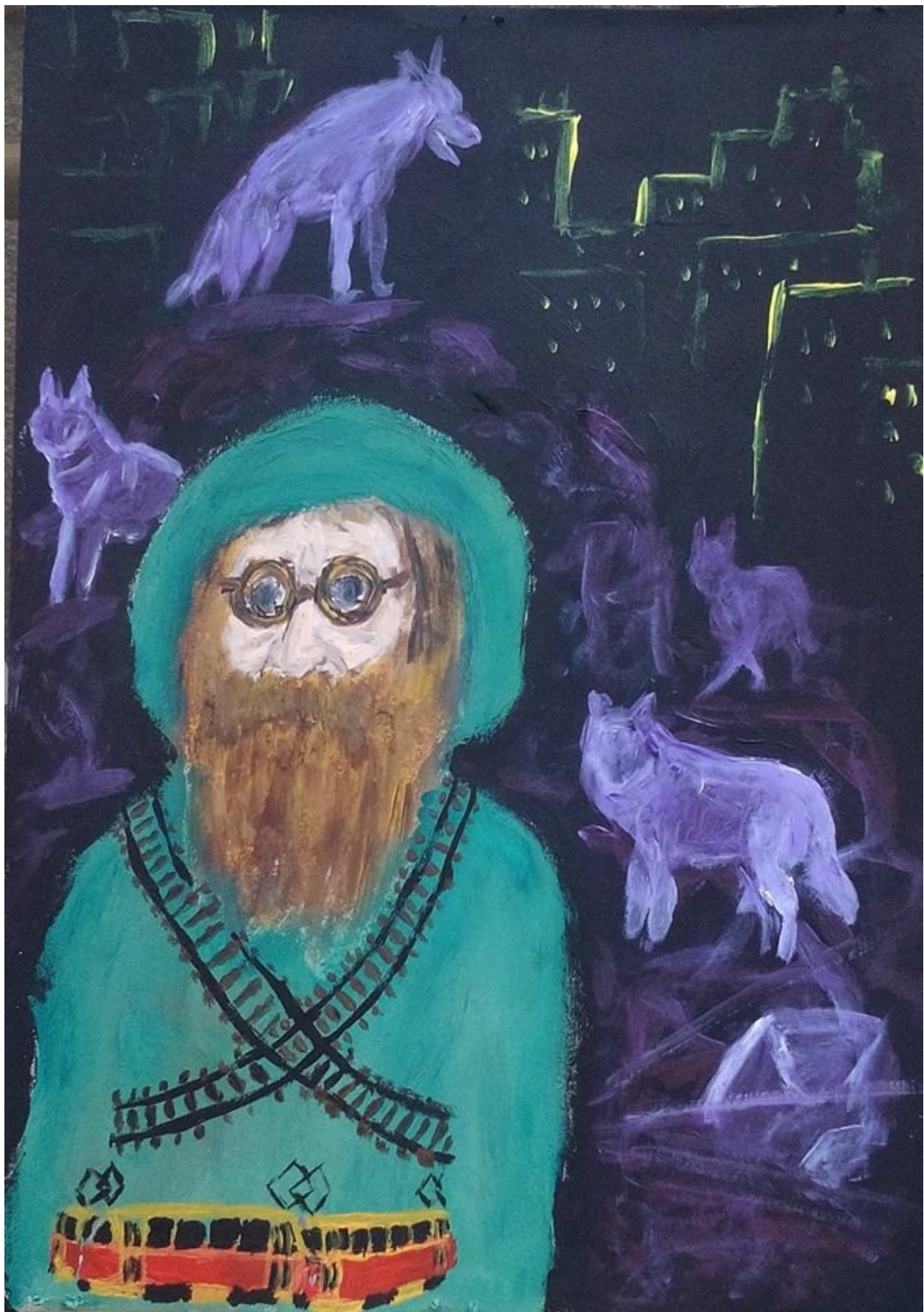
“Анатолий Малеев” звучит хорошо, а что ещё надо. Бармалеев? Ну всегда что-то созвучно, это не обязательно говорит о том, что третье лицо лишняя сущность. Один мой знакомый говорил мне, что часто ему хочется записать какие-то истории, но перо его сковано брачными узами. Например, одна вдова, у которой он как-то оказался дома, на его вопрос, кто играет эту партию – на столике стояли шахматы, сказала, что это играл её муж сам с собой перед смертью, поэтому она не прикасается к фигурам, так и стоят с тех пор. Ещё по дороге предупредила, что после смерти мужа у неё не было мужчины, она пыталась, но не может через что-то переступить, так что она позвала его в гости просто так, по-дружески, раз уж он оказался в её городе. Мой знакомый не поверил, но вскоре убедился, что она не лукавила, после чаепития она уложила его спать в одной из комнат, ночью он проснулся, пошёл в гостиную и сделал ход белыми, потом чёрными... Утром женщина увидела шахматную доску и сразу после этого пошла в его комнату и переспала с ним. Понимая, что история звучит как-то... знакомый сразу же заметил, что это просто первое, что подвернулось, историй у него множество, он начал рассказывать мне другую, менее банальную, но гораздо более, скажем так... физиологичную. Его список добрых дел был невероятно большим, а писал он при этом очень мало, и всё от первого лица, этикие непридуманные био-рассказы. Видно было, как ему хочется писать о своих “приключениях”, это была бы золотая жила, но он намерен был до конца дней прожить со своей женой и сохранить эту жилу в тайне, вместо того, чтобы её разрабатывать.

При этом мой приятель тяжело вздыхал, как-то обречённо... и я не мог не напомнить ему о существовании третьего лица, по-моему, я договорился в свою очередь до таких банальностей, как “для этого же и возникла литература”.

Но Малеев возник здесь по другой причине. “Я – добрый, но добра не сделал никому”, как в песне ветхой пелось... А Малеев не добрый, но едет совершать добро. Во внутреннем кармане его плаща лежит маленькая бутылочка с молоком. У его жены слишком много молока для одного ребёнка, и она заставляет Малеева каждый день раньше вставать, чтобы перед работой завезти сцеженные остатки на молочную кухню. Для тех женщин, у которых вообще нет молока. Его жена чувствует какую-то невероятную эмпатию по отношению к этим женщинам и их детям и когда Малеев поначалу пробовал её отговорить, мол, что это же такая капля в море, ну что она решает, а ему вставать каждый день на полчаса раньше, совершать крюк... жена так наорала на него, что больше он даже не заикался о том, чтобы пропустить один раз... Так что каждое утро, как штык. Так Малеев говорил тогда почему-то о своём подвиге сотрудникам: “Как штык”. При любой погоде. За это платили, да, но такие

копейки... буквально, ну три-пять копеек, ну может, от силы двенадцать – бутылочку взвешивали... Такие три копейки то есть, что через тридцать пять лет, проезжая на такси мимо здания молочной кухни, Малеев, что-то взвесив в голове, подумал, что всё-таки это было по-настоящему доброе дело, которое он таки сделал в своей жизни. Да, это придумала его жена, но он ведь... если бы он был совсем уже злодеем, мог бы запросто выливать капли молока на землю и идти прямо на работу. Но такое ему даже в голову тогда не приходило, а сейчас, когда здание молочной кухни он видел в окне такси, стоявшего перед светофором, ему пришло это в голову вот именно как контраргумент в споре с тем, кто внутри стал осмеивать его добро, потому что Малеев только выполнял волю жены и у него якобы не было свободы выбора... Он не знал, что там внутри сейчас в здании, табличку с мостовой было не разглядеть, Малеев не помнил, была ли там тогда табличка, ну т.е. какая-то была, наверно, но она казалась ему в памяти серой, а эта была коричневой... кроме того, на охряном фасаде ближе к углу Малеев успел заметить, уже когда такси двинулось, какие-то граффити, или трещины от времени и стихии, потемневшая покраска, рыжеватые узоры, показавшиеся ему проступившими симпатическими чернилами, которыми нарисована симпатическая система этого здания, а может, там и правда были граффити... дом вообще-то выглядит заброшенным, думал Малеев, пытаюсь вспомнить, что там было внутри... белый кафель, наверно, синие масляные стены.... глядя уже на фасады других зданий, похожие, впрочем, на здание молочной кухни... а когда такси проезжало мимо трамвайного круга, Малеев увидел в окне человека, которого он видел в городе X, сколько он себя там помнил, но достаточно редко, раз в сто-двести лет и надо ли говорить, что человек при этом совершенно не менялся. Малеев когда-то называл его про себя тайным библиотекарем, потом архивариусом или архиватором города... и он всегда при его внезапном проявлении во встречной толпе встречался с ним глазами, которые были в круглых очках, линзы были увеличительными и мощными, глаза едва помещались в оправе, а одежда всегда была под стать его зизитоповской гриве цвета жухлой травы, выцветшая штормовка или что-то в таком роде. Малеев сначала не понял, почему этот человек вспомнился ему не так давно посреди чтения “Интерната”, ведь там это был учитель, а не архивариус... А сейчас, когда он увидел его в окне впервые в этом тысячелетии... Малеев понял, что это могло быть потому, что в другом городе, но уже в этом веке, он однажды встретил похожего на архивариуса учителя. Да-да, двойник преподавал в какой-то штейнерианской гимназии, Монтессори, что ли, каким-то ветром его занесло однажды в штатм-кнайпу Малеева, как будто ворох жухлой травы из прошлого вдруг возник перед нашим перекаати-полем, и они о чём-то там разговорились и выпили немало пшеничного, потом через много лет ещё раз или два Малеев видел учителя в городе, не окликая, конечно. Малеев вызвал такси из “Цыпы”, где он прощался со знакомыми, он успел выпить несколько кружек, но не успел сходить в туалет и в какой-то момент ему стало чертовски трудно терпеть, он пожаловался водителю, тот сразу же резко затормозил, Малеев сказал но где, водитель кивнул головой прямо перед собой, и Малеев увидел высокую, как дома по обочине дороги, гору мусору, странно, что они только что мчались напрямик в эту гору, если бы не нужда Малеева, они что же, врезались бы в неё... Или водитель так быстро свернул в тупик, когда Малеев сказал, что Малеев и не заметил, как... Малеев вышел из машины, сделал несколько шагов по направлению к

вертикальной свалке и уже начал расстёгивать ширинку, как вдруг увидел в сумерках, которые успели так быстро сгуститься, как будто они просто переместились в ночную часть города, тела нескольких крупных собак на разных отрогах горы, Малеев в ужасе вернулся к машине и сказал водителю, что там... Да вы не бойтесь, сказал ему водитель.... Да как не бойтесь, сказал Малеев, а вдруг отхватят... Не бойтесь, повторил водитель, если что, я их отпугну, и он показал Малееву что-то похожее на огнестрельное оружие. Малеев вплотную к горе не подошёл и впервые в жизни оросил середину улицы, совершенно пустой, не считая волков, рывшихся в мусорной пирамиде. Малеев подумал механически, что они сейчас точно его разорвут, решив, что он вздумал тут метить свою территорию, но вот уже он был в такси и они мчались дальше сквозь ночь, и он успел сесть на поезд, где



5. предыдущий пункт-комментарий к картинке, где библиотекарь опоясан трамваями и волками, как Сейф пляжной дорожкой... закончился на том, что Малеев успел войти в железнодорожный состав, логично было бы теперь перейти отсюда к картинке, где дитя Малеев тянется из окна вагона к корове, лежащей на крыше поезда



но я что-то пропустил... допустим то есть, что это зеркало заднего вида такси или поезда, сошедшего с рельс или/и взлетающего с автострады, правда, от чего теперь бежит Малеев, я пока не совсем догоняю, когда так много позади, что-то внутреннее, наверно, кипит, и разум, замещённый молоком...



и вот уже кастрюля бежит от такого злого молока – туда же, куда и Малеев, с балов в баллы, в балладу-балду... один из аборигенов Бухты Любви начинает управлять кастрюлей, сидя по-турецки на гальке, не обращая внимание на заливающие его по пояс волны, больше часа он даёт команды кастрюле, выправи крен, чуть левее, так держать, право руля, здесь осторожно, держись-держись... Малеев смотрит на него и понимает, что это уже не кастрюля, а весь этот чел, это его часть, делающая его целым, он говорит не с кастрюлей, а сам-друг, не замечая ничего, кроме котелка, и если бы это всё было аниме, а не анимизм чистой воды, волна нахлобучила бы кастрюлю в конце концов на голову аборигена, и мы бы назвали это высшим пилотажем



6.



Когда у хронопа Малеева родился сын, хроноп Малеев ощутил жгучее желание воспитывать его самостоятельно. Ещё до рождения сына у Малеева с женой начались противоречия из-за её всё более, надо сказать, обширных контактов с представителями фамусовского общества, а семья жены будучи, скорее, пограничным случаем между мирами, Малеева в качестве среды для духовного роста отпрыска тоже не устраивала, но оградить его от этой среды простой советский хроноп Малеев и житель хрущобы, разумеется, был не в состоянии. Тем не менее, когда сыну исполнилось два года, Малеев заявил, что теперь он может поехать с Мариком в отпуск вдвоём, да-да, вы не ослышались! Вдвоём, Марик уже не грудной ребёнок, и отец Малеев, прекрасно справится, тем более, что в тот же посёлок едут его друзья, пара с таким же, как Марик, ребёнком, нет, они будут жить не в палатках, а просто по соседству, и всё будет прекрасно, друзья будут ему помогать. Семья жены решила, что Малеев совсем сошёл с ума, попытки его отговорить не увенчались успехом, но с помощью самого жёсткого ультиматума они смогли навязать Малееву спутницу, старейшую представительницу семьи, прабабушку Марика. Оглядываясь назад из другого века, Малеев понимал, что это было и к лучшему. Прабабушка занималась кормлением Марика, что было бы задачей для Малеева

наверняка непосильной, сын на море объявил голодовку без всяких требований, и накормить его прабабушка смогла только тогда, когда посадила его верхом на древний мотоцикл, стоявший на улице неподалёку, вероятно, бесхозный. Стоило Малееву младшему взять в руки штурвал, как он всё забывал, уносился за тысячи миль, и прабабушка, стоя рядом, быстро, пока он не вернулся в себя, совала ему в открытый рот ложку с манной.

В остальное время она куховарила, беседовала со всеми жителями курятников и, включая точно по часам оплетённый виноградом и плющом хозяйский телевизор, смотрела сериал "Рабыня Изаура". Малеев младший был почти всегда где-то рядом с ней и с телевизором, так что вся программа Малеева старшего с треском провалилась, как в области духовной пищи, так и материальной. Побочным эффектом возникшей у Малеева от очередного поражения на всех фронтах депрессии стал его первый адюльтер. Пока благоверный Илоны смотрел в беседке со своим сыном, с Мариком и с прабабушкой Марика "Рабыню Изауру", а в паузах беседовал с ней о Хрущёве и Сталине, Малеев удалялся на дикий пляж с чужой женой и в то же время такой близкой ему духовно женщиной, что это чуть было не довело их до катастрофы. Но нет, никто ничего не узнал, браки не распались, во всяком случае, тем летом, а когда через много лет все они разошлись, Малеев и его первая постбрачная не стали новобрачными хотя Илона к тому моменту давно покинула мужа, уже вовсе не из-за Малеева, который в свою очередь потерял счёт тем, кому то лето стало лихим началом. Но всё это через многие годы и уже в другой зоне, так что можно сказать, оба брака продержались ещё целую вечность, потихоньку распадаясь по горизонтали, как кто-то точно заметил, как и большинство советских браков, в отличие от западных, распадавшихся мгновенно по вертикали. Несколько огорчало Малеева-старшего ретроспективно только то, что преступления против советской семьи на диком пляже он помнил гораздо хуже, чем чёрный трофейный мотоцикл на поросшей жёлтой щетиной грунтовке.



Это портрет крика, а не Лили, кажется, я хотел нарисовать рупор, но был уже черпак в другой её руке, и я подумал, что и рупор и черпак чересчур, думал соединить черпак и рупор в нечто единое, но это сразу же стало превращаться в куль из коричневой бумаги, а это явно было из репертуара продавщицы другого отдела... тут и выскочила из памяти, внезапно, как Беня, Лиля, крик-Брик, повторите, пожалуйста, чики-брык, и в школе и дома. Всё это ненужные подробности, это лелеяние детских книг, когда главное в этом альбоме – крик – уже нарисован... И весь этот текст был бы об одном только крике... если бы не Малеев, сделавший так, что однажды этот крик, казавшийся таким же незыблемым элементом массива... И не просто элементом, а... Осью. Как крик горлицы, только не летом, а бетонной атомной зимой, или в тумане вечной осени с невидимого дна: “Молоко-о-о-о-о00000000!” Иногда, не так часто, Малеева посылали, и он тоже становился в очередь за белым раствором, на котором держался весь околлом, где что-то окало около Онкало.....



Часть бидона шла на домашний творог, который делал дед Малеева, на округлых потных кусках оставалась выгравированная сеточка марли и Малееву казалось, что это слепок окоёма за гардиной, он не любил никакой творог, но его заставляли потреблять: ты быстро растёшь, надо, чтобы кости были крепкими. В других квартирах делали из творога казеиновую темперу, которой писали, как законный, так и внутренний мир, а кто-то и казеиновый клей, не заморачиваясь промежуточным творогом, прямо из незабинтованного молока, и как-то это всё держалось на обрывках дней, не без клея то есть, да, это будет рассказ о клее, парафраз, залетевший оттуда, Брик ни при чём... но Лариса Рейснер, умеревшая от стакана молока, согласитесь, на роль его продавщицы ещё меньше подходит... Малеев был некоторое время в редакции стенгазеты, пока его не выгнали оттуда за неровные и неравные буквы, но у него остался с тех времён один сравнительно большой лист ватмана, достаточный, как оказалось, для его сверхзадачи. В первый раз оставшись дома один, "ты уже не маленький мальчик", оба родителя в командировках, дедушка ещё не успел вернуться из Конотопа, куда поехал к сестре, зазор в присмотре в один день и одну ночь, был бы Малеев постарше, он бы, возможно, воспользовался этим иначе, позже бы лёг или

вообще не ложился, или не один бы ложился... но в свои тринадцать он сделал ровно то, что больше всего хотел сделать. Он пришёл в школу раньше всех. Благо она была недалеко и наклеив лист на дверь, Малеев вернулся домой, лёг в кровать и пролежал без сна два часа, прокручивая в голове возможные сценарии. Потом он съел завтрак, оставленный ему в холодильнике, снова пошёл в школу, но не дошёл. Ещё на подходе, за пределами школьного двора, он увидел толпы радостных учеников, идущих ему навстречу, наперебой ему начали выкрикивать: "Карантин! Корь! Все занятия отменяются! Школа на неделю закрыта на карантин! Сказали: всем идти домой!" Малеев не ожидал такого эффекта, думал, что скорее всего объявление сорвут учителя, но, очевидно, на первые пары пришли не те учителя, которые способны отличить команду дирекции от директивы Малеева, а когда пришли те, было уже поздно, процесс стал похожим на снежный ком, который покатился от школы, вовлекая в себя всех встречных. Дома Малеев испытал такой приступ счастья, что решил ещё немного воспользоваться отсутствием взрослых: впервые налил немного коньяка из бутылки, стоявшей в стенке среди хрусталя, в хрустальный же бокал и осушил его. Потом ещё. И ещё немного. И ещё чуть-чуть. Он долил в бутылку крепкий чай до прежнего уровня, после чего пошёл в свою комнату, лёг на свою кровать и закрыл глаза. Это было чистое, беспримесное счастье. Один раз в жизни. В голове мелькали картинки, он погрузился в них на какое-то время и проснулся от крика, который принял было за привычный, но в следующий момент он понял, что происходит нечто уже запредельно странное, во-первых, крик сопровождался неслыханным звоном откуда-то взявшихся в их микрорайоне колоколов... через секунду он понял, что это один колокольчик, но тоже неизвестно откуда взявшийся, и кто это придумал, чтобы так изображать звонок на урок, наверное, сама директриса и придумала... но кричала не она... и что же это был за крик... Малееву с первого похмелья сначала показалось, что молочная женщина спятила и кричит: "Пейте дети молоко, будете здоровы!" Он подошёл к окну и осторожно, как будто его могли увидеть на восьмом этаже, коснулся лбом холодного стекла, посмотрел вниз, но ничего не увидел. Что было неудивительно, так же никогда не видно было сверху источник вечного зова, который всегда скрывал туман, так что и теперь это могла быть та же женщина, только теперь ей поручили другую миссию, она звонила в колокольчик и кричала: "Дети, в шко-о-о-о-лу!"



8. milky way / Napoleon nimmt ein Milchbad und beobachtet Alexanderschlacht /

Так как у мюнхенцев нет своих Комара и Меламеда, то их опросили не о том, что они хотят видеть на картине, а какая картина в пинакотеке им больше всего нравится и победительницей опроса стала "Битва Александра" Альбрехта Альтдорфера, а уже на этом основании инициаторы опроса стали рисовать психологический портрет "мюнхенца", который свёлся в конце статьи к формулировке "egal wohin, wo alle sind", т. е. всё равно куда, главное, чтоб туда, куда и все. Когда я впервые увидел эту картину в пинакотеке, я на самом деле решил, что Альтдорфер изобразил на заднем плане Млечный Путь, даже не задумавшись о том, как он смог так его увидеть в XVI веке. Вот и вся фабула... плюс то, что картина некоторое время была апроприирована Наполеоном Бонапартом и так ему понравилась, что он повесил её у себя в ванной.



Сказанного более, чем достаточно, чтобы моя картинка чувствовала себя в “Молочной кухне”, как дома, так что следующее воспоминание уже не обязательно должно иметь связь с молоком... Ну можно было бы сделать этаким шлюз, посмотрев сквозь бокал с “White Russia”, тем более, что был короткий период после просмотра “Биг Лебовски”, когда я пил этот напиток в одном локале, после сеанса мы буквально бегом отправились туда со

знакомой и заказали его, потом ещё и ещё... Но это всё было уже очень давно, а теперь я сидел и пил там пиво, было ещё рано и довольно пустынно, я сидел за стойкой и переговаривался со старым знакомым, барменом, как вдруг рядом оказался человек, которого я видел где-то один раз и это было, как выяснилось, на дне рождения Александра Гнилицкого. Он напомнил мне и то, что он массажист. Я машинально вспомнил, что первый массажист в моей жизни, в далёкой юности после травмы шейного отдела позвоночника, был слепым шахматистом. Да-да, намыливая мне шею без мыла, он рассказывал о своих партиях, он был каким-то чемпионом, а я чувствовал себя шахматной доской. Я не стал всё это рассказывать незнакомому массажисту, я разговорился с барменом, как вдруг массажист прервал меня, да так громко, что я подумал, он не в себе, ещё до того, как понял смысл сообщения: «А ты знаешь, что я заказывал Гнилицкому копию «Битвы Александра»?»

Бармен по-русски не понимал, но рассмеялся, а я замолчал на полуслове и обернулся к массажисту, ожидая услышать историю ограбления века, замены в пинакотеке любимой картины мюнхенцев на ещё более гениальную копию... “Но он отказался! – сказал массажист. - Совсем обнаглел! Я же деньги плачу, блядь! А он ни в какую...” Теперь уже и я не мог не рассмеяться: возмущение массажиста выглядело неподдельным. Из дальнейшего разговора выяснилось, что массажист, который, вот я и это вспомнил, решил переквалифицироваться в виноделы, я ещё пошутил, что это тоже массаж своего рода, если топтать ногами... вспомнив и то, как мы делали друг другу профанный массаж, просто ходили по спине лежащего на животе туда-сюда... В общем, я понял, что массажист винограда отнюдь не шутил, он искренне был возмущён тем, что Гнилицкий отказался сделать для него копию Альтдорфера, которую он бы повесил у себя дома. Возможно, что и в ванной, как Наполеон, но этого он мне не говорил, это уже мои домыслы.

Die Milchküche

Die Suche nach Spuren
der gemeinen verheerenden
Euphorie



